

опозиций по сравнению с другим (например, «славы» в древнерусской оппозиции «честь / слава»); ослабление или усиление структурной релевантности элемента (например, «чести») ведет к изменению или даже разрушению структуры, в чем, по-видимому, заключается один из важнейших механизмов, обеспечивающих развитие понятий во времени.

С.Л. Козлов

Филология по-французски:  
ренановская концепция филологии  
в историко-научном контексте

На первой странице введения к «Курсу общей лингвистики» Соссюра филология определяется следующим образом: «Язык не является единственным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты»<sup>1</sup>. Такое понимание филологии восходит к античности; в XX в. оно являлось господствующим. В 1979 г., участвуя в дискуссии «Филология: проблемы, методы, задачи», организованной журналом «Литературное обозрение», Ю.М. Лотман еще более жестко, чем Соссюр, связывал сущность филологии с толкованием текстов: «Древняя задача филологии – объяснение, дешифровка текста, раскрытие его смысла. <...> Этим и занимается филология»<sup>2</sup>. Однако подобная концепция филологии не является единственно возможной. Г.О. Винокур начинал в 1944–1946 гг. свой замечательный курс «Введение в изучение филологических наук» с перечисления

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. А.М. Сухотина; под ред. А. А. Холодовича // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 39.

<sup>2</sup> Лотман Ю.М. Этот трудный текст... // Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб., 2005. С. 105–106.

трех главных исторически засвидетельствованных подходов к пониманию филологии: 1) филология как изучение языка; 2) филология как обработка текста; 3) филология как история национальной культуры<sup>3</sup>.

В центре нашего внимания далее будет находиться именно первый из трех перечисленных Винокуром подходов: филология как изучение языка. Именно такой подход к филологии мы позволили себе назвать в рамках этой статьи «филологией по-французски»<sup>4</sup>. Перефразируя вышеприведенное определение Соссюра, можно резюмировать этот подход следующей формулой: «Текст не является единственным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачей дешифровку и объяснение языков».

До XIX в. слово *philologie* было известно во Франции, но сколько-нибудь широко оно не употреблялось. В конце XVII в. «Всеобщий словарь» Фуретьера давал филологии собирательное определение: «Вид знания, состоящий из Грамматики, Риторики, Поэтики, Древностей, Историй, а также обычно из Критики и толкования всех сочинителей»<sup>5</sup>. Это определение, сопровождавшееся ссылками на Эратосфена и на Марциана Капеллу, отражало узус ученых

<sup>3</sup> Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук / Сост. и сопровод. статьи С.И. Гиндина. М., 2000. С. 13–26.

<sup>4</sup> Когда наша работа уже была закончена, мы смогли познакомиться с недавно вышедшим первым изданием новонайденной рукописи Ренана «История изучения греческого языка»; в предисловии П. Симон-Наум к этому изданию один из разделов озаглавлен той же формулой, правда, с вопросительным знаком: «Une philologie à la française?». См.: Renan E. Histoire de l'étude de la langue grecque dans l'Occident de l'Europe depuis la fin du Ve siècle jusqu'à celle du XIVe / Texte introduit et édité par P. Simon-Nahum, textes latins et grecs revus et traduits par J.-C. de Nadaï. P., 2009. P. 26–36.

<sup>5</sup> Цит. по: Furetière A. Dictionnaire universel / 2me éd., rev. et corr. par M. Basnage de Beauval. T. 3. La Haye; Rotterdam, 1701.

людей, членов «республики словесности»<sup>6</sup>. Но вышедший почти одновременно со словарем Фюретьера пуристический Словарь Французской академии (1694), будучи призван отражать узус «людей порядочных»<sup>7</sup>, отказался включать в свой словник специальные термины наук и искусств, и этот отказ продлился вплоть до последней трети XVIII в. Только 4-е издание Словаря Французской академии, выпущенное в 1762 году, включило в себя термины наук и искусств. Слово *philologie* определялось здесь через понятие *érudition* – ученость, охватывающая разные области Изыщной Словесности и, главным образом, Критики»<sup>8</sup>.

На протяжении XVI, XVII, XVIII и первой трети XIX в. слово *érudition* было единственным общепринятым во Франции термином для обозначения филологических знаний. Оно обозначало весь комплекс тех знаний, которые мы называем филологическими, а также и тот тесно связанный с филологией сектор исторического знания, который сегодня, вслед за Арнальдо Момильяно<sup>9</sup>, обычно называют «антикварным» знанием. Этому «антикварному» знанию, которое охватывалось понятием «*érudition*», противопоставлялась философская история, которая называлась «*histoire*» и которую писали литераторы и философы. Носители исто-

<sup>6</sup> О «республике словесности» см.: *Bots H., Waquet F. La République des Lettres*. P., 1997.

<sup>7</sup> О «человеке порядочном» (*honnête homme*) как о культурном идеале см.: *Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век Людовика XIV*. М., 2008. С. 50–60; *Козлов С.Л. Историческая наука и «порядочные люди»: материалы для комментария к «Апологии истории»* // *Одиссей: Человек в истории* – 2008. С. 304–314.

<sup>8</sup> *Dictionnaire de l'Académie française / 4me éd. T. 2: L-Z*. P., 1762.

<sup>9</sup> *Momigliano A. Ancient History and the Antiquarian* // *JWCI*. Vol. 13. P., 1950. P. 285–315; *Idem. The Classical Foundations of Modern Historiography*. Berkeley, Los Angeles, 1990.

рико-филологического знания именовались, соответственно, «эрудитами».

Особенно важно подчеркнуть тот факт, что понятие «*érudition*» предполагало совершенно особую культурную матрицу, в которую было включено историко-филологическое знание. Эта матрица, окончательно сформировавшаяся в последней трети XVII в. и полностью сохранявшаяся во Франции свое господство вплоть до середины XIX в., строилась на таких противопоставлениях, как «наука vs. изыщная словесность» и «служба vs. досуг». В этой системе представлений историко-филологическое знание безусловно относилось к сфере изыщной словесности и к сфере досуга. Показательна предметно-функциональная дифференциация патронируемых государством академий, возникшая во второй половине XVII в., окончательно оформившаяся к началу XVIII в. и сохраняющаяся в своих главных чертах до наших дней: к ведению *Академии наук* было отнесено все то, что мы называем «точные и естественные науки», к ведению Французской академии были отнесены вопросы кодификации живого французского языка (для решения этих вопросов требовалась в первую очередь не ученость, а языковой и литературный вкус), тогда как весь основной массив «учености» был отнесен к ведению *Академии надписей и изыщной словесности*. Таким образом, в институциональном плане историко-филологическое знание было целиком изъято из сферы *sciences* и отнесено к сфере *belles-lettres*.

Слово *philologie* начинает входить во французский культурный обиход лишь со второй трети XIX в. Несмотря на свое латинское происхождение, в XIX веке это слово фактически заимствовалось заново – на этот раз из немецкой культуры. Употребление этого слова во Франции XIX в. было неразрывно связано с импортом во Францию немецких культурных образцов.

Канонизацией слова *philologie* во Франции можно считать его вхождение во французский административный обиход. Это вхождение состоялось в 1867–1868 гг.; слово *philologie* стало составной частью официально утвержден-

ного словосочетания *sciences historiques et philologiques*<sup>10</sup>. Официальная канонизация понятия *историко-филологические науки* явилась результатом многолетней борьбы небольшой группы французских «эрудитов» за внедрение немецких культурных практик и институциональных моделей в систему французского образования и, шире, во французскую культуру. Ведущую роль в этой группе играл Эрнест Ренан.

Начиная с 1850-х гг., Ренан был главным идеологом модернизации научных практик во Франции. При этом модернизация изначально понималась им как германизация. Развернутое идеологическое обоснование такой модернизации Ренан дал еще в 1848 г. в своей большой книге «Будущее науки», которую он по соображениям осторожности надолго оставил ненапечатанной: Ренан опубликовал ее лишь в 1890 г. Вместо того чтобы возмущать общественное мнение большим и претенциозным манифестом, Ренан предпочел внедрять свои идеи в сознание публики постепенно: он стал это делать в своих журнальных статьях 1850–1870-х гг. Тем не менее, поскольку в этих статьях лишь воспроизводятся в более или менее смягченном виде идеи, наиболее полно и откровенно изложенные в «Будущем науки», мы можем считать этот текст 1848 г. главным и наиболее адекватным выражением научной идеологии Ренана.

Манифест Ренана имеет два аспекта – более общий и более частный. В более общем аспекте этот текст представляет собой апологию науки вообще, в более частном аспекте – апологию филологии как главной науки Нового времени. Согласно Ренану, всякое научное познание имеет абсолютную ценность. Но эта абсолютная ценность всякого научного познания не отменяет хода человеческой истории, основанного на смене различных эпох и различных состоя-

<sup>10</sup> Козлов С. Из истории интеллектуального предпринимательства во Франции: как была создана Практическая школа высших исследований // Пермский сборник. Ч. 2. М., 2010. С. 421–423.

ний человеческого духа. Поэтому разные науки могут иметь большую или меньшую важность для разных исторических эпох. Именно этот релятивный, исторический критерий становится у Ренана точкой опоры для защиты и прославления филологии:

Я не боюсь преувеличить, когда говорю, что филология, неразрывно связанная с критикой, составляет один из самых существенных элементов современного духа, что без филологии современный мир не был бы тем, что он есть, что филология составляет великую разницу между Средними веками и Новым временем. Если мы превосходим Средние века в ясности, в точности и в критике, то этим мы обязаны единственно филологическому воспитанию <...> Дух Нового времени, т. е. рационализм, критика, либерализм, был основан в момент появления филологии. *Основателями духа Нового времени являются филологи* (*Avenir de la Science*, 192–194; *Будущее науки*, 1-я pag., 95–96)<sup>11</sup>.

*Критика текста* является, согласно Ренану, первоисточком критического духа, свойственного Новому времени. Кульминационным же моментом Нового времени является XIX век: это эпоха, когда критический дух распространяется на все сферы действительности:

Всеобщая критика составляет единственную характерную черту, которую можно подметить в тонком, быстром и неуловимом мышлении XIX века. Каким именем можно назвать все это множество избранных умов, которые, не занимаясь

<sup>11</sup> *Renan E. L'Avenir de la science / Présentation, chronologie, bibliographie* par A. Petit. P., 1995; *Ренан Э. Будущее науки / Пер., ред. и предисл. В.Н. Михайлова. 3-е изд. [репринт издания 1904 г.]. М., 2009. Почти все цитаты из русского перевода книги «Будущее науки» приводятся с теми или иными, иногда значительными, изменениями. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, курсив Ренана.*

абстрактно-догматическими построениями, открыли для мышления новый способ обращаться с миром фактов? Разве философией, как другие занимаются историей или тем, что носит название литературы. Итак, форма, в которой человеческий ум стремится идти по всем дорогам, есть *критика*. Но если критика и филология не тождественны друг другу, то они во всяком случае и неразлучны. Критиковать – значит занимать позицию зрителя и судьи среди разнообразия вещей; а филология и есть истолкование вещей, средство войти с ними в общение и понять их язык. Вместе с гибелью филологии погибла бы и критика, возродилось бы варварство, и легковерие снова воцарилось бы в мире (AS, 197–198; БН, 1-я паг., 99).

Итак, филология есть источник критического духа. Но ценность филологии этим не исчерпывается. Филология и критика «не тождественны друг другу»; критика не исчерпывается филологией, а филология не исчерпывается критикой. В филологии есть некоторое собственное содержание, не сводящееся к духу критики. Это содержание связано с той сферой действительности, которая является для филологии предметом познания.

Чтобы обосновать этот предмет познания, Ренану приходится построить самую общую классификацию наук.

Единственное средство оправдать филологические науки и вообще эрудицию, по моему мнению, состоит в том, чтобы сгруппировать их в одно целое и назвать это целое науками *о человечестве* в противоположность наукам *о природе*. В противном случае филология не имеет предмета и не может ничего ответить на те возражения, которые так часто направляются против нее (AS, 253; БН, 1-я паг., 138).

Таким образом, Ренан фактически вводит здесь понятие гуманитарных наук. Но тут надо обратить внимание на два момента. Во-первых, гуманитарные науки, по Ренану, – это не науки о человеке. Это науки *о человечестве*. При таком определении исчезает всякая почва для будущей

дихотомии наук о человеке и наук об обществе, т. е. наук гуманитарных и наук социальных. Во-вторых, Ренан впервые здесь говорит не о филологии, а о филологических науках – не в единственном, а во множественном числе. Филологические науки и являются науками о человечестве. Таким образом, филология, по Ренану, оказывается общим базисом гуманитарных наук в целом.

В отношениях между двумя группами наук – науками о природе и науками о человечестве – Ренан не усматривает никакой особой проблемы. В глазах Ренана эти группы наук различаются *по своему предмету*, и предметы обеих групп естественно дополняют друг друга. Ренан совершенно не видит – или не хочет видеть – той *методологической* разницы между двумя этими группами наук, которая будет осмыслена немецкими теоретиками конца XIX – начала XX в. в форме противопоставления «наук о природе» и «наук о духе». К концу жизни Ренан, даже и не находясь в курсе новейших немецких дискуссий, вполне отчетливо, хотя и в упрощенной форме, станет осознавать непреодолимый разрыв, существующий между гуманитарными и естественными науками: он станет пренебрежительно называть науки филологического цикла «мелкими предположительными науками» (*“petites sciences conjecturales”* – Renan 1983, 151) и будет выражать сожаление, что связал свою жизнь с этими науками, а не с химией, астрономией или общей физиологией:

Сожаление всей моей жизни состоит в том, что я выбрал для своих занятий род изысканий, которые никогда не достигают общеобязательного, неотменимого значения и обречены вечно оставаться не более чем интересными соображениями об исчезнувшей навсегда реальности (Renan 1983, 152).

Конечно, и это позднейшее высказывание Ренана также содержит известную мифологизацию отношений между гуманитарными и точными науками – правда, теперь эта мифологизация будет идти в обратном направлении. В ответ

Ренану можно было бы возразить, например, что любимая им сравнительно-историческая лингвистика в том виде, какой она приобрела у младограмматиков и раннего Соссюра, вполне достигает общеобязательного значения. Однако нас сейчас интересуют воззрения Ренана, какими они были в 1848 г. и какими они продолжали быть в 1850–1860-х гг. В 1848 г. Ренан не видит никакой сущностной разницы между науками о природе и науками о человечестве:

Филология есть *точная наука* о явлениях умственной жизни [des choses de l'esprit]. Для наук о человечестве она является тем же, чем физика и химия являются для философской науки о телах (AS, 200; БН, 1-я паг., 101).

Итак, филология по своему предмету – наука о явлениях умственной жизни, а по своему методу – точная наука: Ренан особо подчеркивает эту мысль. В качестве точной науки филология аналогична физике или химии. Может быть, в этом добровольном самообмане касательно отсутствия методологического разрыва между точными и гуманитарными науками сильнее всего проявляется *идеологический* характер представлений Ренана о филологии, развиваемых в книге «Будущее науки».

Нельзя сказать, чтобы Ренан вовсе закрывал глаза на очевидные различия между точными и гуманитарными науками; наоборот, он признает эти различия как сами собою разумеющиеся, но дезавуирует их значимость:

Мне кажется, что и г-н Прудон <...> по временам недостаточно широко понимает науку. <...> Никто лучше его не понял, что отныне возможна только наука; но для него наука не может быть ни поэтична, ни религиозна; наука г-на Прудона слишком исключительно абстрактна и логична. Г-н Прудон еще недостаточно освободился от семинарской схоластики; он слишком много *теоретизирует* [il raisonne beaucoup]; он, по-видимому, недостаточно понял, что в науках о человечестве логическая аргументация не значит ничего, а тонкость ума значит все (AS, 203; БН, 1-я паг., 102).

Противопоставляя «логической аргументации» «тонкость ума», Ренан подразумевает разработанную Паскалем антитезу двух видов ума: *esprit géométrique* vs. *esprit de finesse*. Отрицательному примеру Прудона в рассуждениях Ренана предшествует еще более отрицательный пример Конта, и в ходе этой критики научных представлений Конта Ренан прямо вводит понятие *esprit géométrique*:

Таким образом, метод Конта в науках о человечестве – чисто априорный <...>. Вместо того чтобы следовать за бесконечно извилистыми линиями хода человеческих обществ <...> Конт хочет сразу достигнуть простоты, которая в законах развития человечества имеет еще меньше места, чем в мире физическом. <...> Чтобы [успешно] заниматься историей человеческого духа, нужно быть весьма искушенным знатоком словесности. Поскольку законы здесь имеют чрезвычайно тонкую природу и совсем не обнаруживаются прямо, как в физических науках, важнейшей способностью для изучения этих законов является литературно-критический дар, тонкость оборотов (именно *обороты* выражают обыкновенно больше всего), тонкость мелких наблюдений – словом, прямая противоположность геометрическому складу ума [*esprit géométrique*] (AS, 201–202; БН, 1-я паг., 101–102).

Затем, развивая свое рассуждение дальше, Ренан ссылается именно на геометрию как на образец логико-дедуктивной науки (AS, 203–204; БН, 1-я паг., 102–103).

Филология была для Ренана точной наукой, но, как видим, точность филологии в его глазах качественно отличалась от точности геометрии или алгебры: точность филологии, согласно Ренану, основывалась не на абстрактном дедуктивном мышлении, а на мышлении индуктивном, эмпирическом, привязанном к конкретике. Точность филологии состояла в полноте и точности учета фактов, а также в тонкости различений и характеристик. В концепции Ренана представления о филологии, восходящие к немецкой культуре, стыкуются с чисто французским представлением

о «тонком уме». Ниже нам придется более широко поставить вопрос о соотношении немецких и французских ориентиров в ренановском воззрении на филологию.

Пока что вернемся к вопросу о самых общих ценностях, на которых Ренан основывает свою апологию филологии. Первой такой ценностью, как мы видели, является *критика*. Эта базовая ценность воплощается в способе познания, который присущ филологии. Но есть и другая ценность, не менее базовая, не менее значимая для Ренана. Она воплощается в том предмете, познанию которого служит в конечном счете, опосредованно, вся филологическая работа. Этой второй ценностью – и этим конечным предметом познания – является *история человеческого духа* (*histoire de l'esprit humain*):

Цель филологии не лежит в ней самой: филология имеет ценность как необходимое условие истории человеческого духа и знания о прошлом [*de l'étude du passé*] (AS, 185; БН, 1-я паг., 90).

Только это дает ценность эрудиции. Никто не станет приписывать ей практическую полезность; ссылок на одну лишь любознательность тоже недостаточно, чтобы обосновать высокую задачу эрудиции. Следовательно, остается лишь одно: видеть в эрудиции условие, без которого невозможна наука о человеческом духе, *наука о продуктах человеческого духа* (AS, 244; БН, 1-я паг., 131).

Как мы помним, во французской культуре «эрудицией», т. е. «ученостью», традиционно именовалось историко-филологическое знание. Итак, согласно Ренану, историко-филологическое знание нужно для построения науки о продуктах человеческого духа. Эту науку Ренан и именует филологией в ее современном значении:

Для нас филология не является, как в Александрийской школе, лишь предметом любознательности ученого; это орга-

низованная наука, имеющая возвышенную и серьезную цель; это *наука о продуктах человеческого духа* (AS, 191–192; БН, 1-я паг., 95).

В качестве *науки о продуктах* человеческого духа современная филология служит великой задаче построения *истории* человеческого духа. И тут выясняется, что две главные ренановские ценности – «критика» и «история человеческого духа» – по своим валентностям совершенно аналогичны: и та и другая ценность сущностно связаны для Ренана 1) с филологией; 2) с философией; 3) с современностью. Причастность к постижению истории человеческого духа, точно так же как и причастность к критическому началу, обуславливает глубочайшую связь современной филологии, во-первых, с духом современности, а во-вторых, с современной философией:

Между тем, если вдуматься, настоящей философией XIX века является история. Наш век не метафизичен; его мало заботит отвлеченное обсуждение [*la discussion intrinsèque*] тех или иных вопросов. Главная его забота – это история и, прежде всего, история человеческого духа. Именно здесь находится [сегодня] принцип разделения на школы: человек является философом или верующим в зависимости от того, как он рассматривает историю; в человечество верят или не верят в зависимости от того, какое воззрение на историю человечества признается истинным (AS, 304; БН, 3-я паг., 16).

История человеческого духа, история не курьезная, но теоретическая, такова философия XIX века. Но такая наука невозможна без непосредственного изучения памятников, а памятники недоступны без специальных филологических изысканий (AS, 186; БН, 1-я паг., 91).

Отсюда вытекает требование, которое является для Ренана в его книге одним из важнейших, – требование союза между филологией и философией:

Итак, соединение филологии и философии, эрудиции и мысли должно было бы характеризовать интеллектуальную работу нашей эпохи. Филология или эрудиция доставят мыслителю тот лес вещей (как говорит Цицерон, *silva rerum ac sententiarum*), без которого философия вечно оставалась бы пряжей Пенелопы, которую нужно постоянно начинать сначала. <...> Необходимой предпосылкой мыслителя является эрудит, и уже из одних только соображений строгой умственной дисциплины я бы невысоко поставил философа, который хоть раз в жизни не поработал бы над разъяснением какого-либо специального научного вопроса. Конечно, обе эти роли могут быть разделены, и такое разделение часто даже очень желательно. Но нужно по крайней мере, чтобы между этими различными функциями установились тесные сношения, чтобы работы эрудитов не лежали мертвым грузом в массе собраний ученых записок, которые все равно что не существуют для читателя; и чтобы философ, с другой стороны, не искал бы упорно внутри себя жизненных истин, которыми так богаты науки для всякого прилежного критического исследователя (AS, 189–190; БН, 1-я паг., 93).

Рассмотрим теперь подробнее ту программу развития гуманитарных наук, которую выстраивает Ренан. Общим эпистемологическим горизонтом для всей этой программы исследований выступает «история человеческого духа». Какое же содержание, собственно говоря, вкладывает Ренан в понятие «история человеческого духа»?

Исходный принцип ренановского воззрения на «историю человеческого духа» состоит в том, что, как было сказано в приведенной чуть выше цитате, это «история не курьезная, но теоретическая». Иначе говоря, она представляет собою не скопление частных фактов, но концептуальную реконструкцию некоторого единого, общего процесса, разворачивающегося во времени.

Субъектом этого единого процесса является человечество:

Главный вывод, приобретенный огромным историческим развитием конца XVIII-го и начала XIX-го века, состоит в том, что существует жизнь человечества, точно так же, как жизнь индивидуума; что история не представляет собою бессмысленный ряд отдельных фактов, но является спонтанным развитием, направленным к идеальной цели; что законченность и совершенство есть тот центр, к которому тяготеет человечество, как и все живущее. Гегель получил право на бессмертие тем, что он первый совершенно ясно обозначил эту жизненную и в некотором смысле личную силу, которую не заметили ни Вико, ни Монтескье и которую сам Гердер лишь смутно предчувствовал. Этим он обеспечил себе право на звание окончательного основателя [*fondateur définitif*] философии истории. С этих пор история перестанет быть тем, чем она была для Боссюэ, выполнением особого плана, задуманного и выполненного силой, стоящей выше человека и руководящей человеком, которому остается только склониться перед ней; она перестанет быть тем, чем она была для Монтескье, сцеплением фактов и их причин, или тем, чем она была для Вико, движением без цели и почти без причины. *Это будет история существа, развивающегося благодаря своим внутренним силам, создающего себя самого и доходящего через различные ступени развития до полного обладания самим собой.* Конечно, здесь есть движение, как это утверждал Вико; здесь есть причины, как утверждал Монтескье; есть предначертанный план, как думал Боссюэ. Но они не заметили активной и живой силы, которая производит это движение, которая одушевляет эти причины, и которая выполняет посланный Провидением план безо всякого внешнего содействия, благодаря одному лишь стремлению к завершенности. Совершенная автономия, внутреннее сотворение, одним словом – жизнь: таков закон человечества (AS, 220–221; БН, 1-я паг., 114–115; курсив наш. – С. К.).

Из вышеприведенного пассажа выясняется традиция, к которой примыкает ренановская «история человеческого духа». Если само словосочетание «*histoire de l'esprit*

humain» восходит к французской философской традиции XVIII в. (см. монографию Dagen 1977), то ренановская концепция «истории человеческого духа» опирается не столько на французскую, сколько на общеевропейскую традицию философии истории. Эта традиция, как подчеркивает здесь Ренан, достигает наибольшей концептуальной зрелости в творчестве Гегеля, но мы знаем, что для формирования идей Ренана в 1844–1846 гг. наибольшую важность имело творчество Гердера. У Гердера с его «философией истории человечества» вышеуказанная концепция хотя и не достигает полной теоретической отчетливости, но, во всяком случае, предопределяется.

Суть этой концепции состоит в том, что «человечество мыслится как некоторое единое сознание, которое само себя творит и развивается» (AS, 221; БН, 1-я паг., 115). Человечество рассматривается как единый субъект и даже, если угодно, как единая личность (см. процитированные выше слова Ренана о «в некотором смысле личной силе», которую выявил Гегель). Таким образом, в ренановской «истории человеческого духа» субъект надиндивидуален. Ренан в «Будущем науки» неизменно сосредоточен на человечестве как на субъекте исторического развития, но из этого не следует, что индивидуум, в свою очередь, полностью лишается субъектности. Скорее, если рассматривать весь текст «Будущего науки» в контексте прочих сочинений Ренана, неизбежен будет вывод об иерархии субъектов как об имплицитном принципе ренановского видения истории. Субъектностью низшего уровня наделен индивидуум. Субъектностью более высокого уровня наделен народ. Субъектностью еще более высокого уровня наделена раса. Наконец, наивысшей субъектностью наделено человечество. (Возможны и субъекты других, промежуточных, уровней – например род, линияж: в «Воспоминаниях о детстве и юности» Ренан наделяет свой собственный род подобной субъектностью и превращает свой род в некую референтную группу, по отношению к которой его, Ренана, жизненная миссия и приобретает свой смысл в первую очередь.) Таким образом, субъект каж-

дого уровня является составной частью субъекта более высокого уровня – вплоть до человечества исключительно. Субъекты всех четырех уровней являются живыми существами, проходящими в своем развитии некий закономерный жизненный цикл. Наиболее очевидной моделью такого взаимоотношения субъектов может служить используемая Ренаном в разных контекстах метафора дерева: стволом дерева здесь будет человечество, ветвями – расы, народы, роды, листьями – отдельные индивиды. Будучи живыми существами, субъекты всех четырех уровней выступают у Ренана как взаимоподобные: они связаны отношениями, которые в последней четверти XX в. стало принято называть фрактальными. Отсюда следует правомерность аналогий между филогенезом и онтогенезом: между жизненным циклом отдельной особи и развитием народа, расы или человечества.

Из общей иерархии субъектов у Ренана вытекает соответствующая иерархия значимости: наивысшей значимостью обладает человечество, наименьшей – индивидуум. Субъект любого из трех низших уровней интересен постольку, поскольку он причастен к субъекту более высокого уровня. Поэтому предметом наибольшего интереса для Ренана является человечество. Соответственно этому определяется и характер исторического времени, которое интересует Ренана: это будет время, охватывающее жизненный цикл всего человечества, т. е. время максимальной протяженности. Ренановская «история человеческого духа» есть макроистория. Ренана интересуют процессы большой длительности и крупного масштаба: это вообще характерно для тех историков, которые мыслят органицистскими метафорами. Микропроцессы сами по себе мало интересуют Ренана. Однако в силу аналогии между филогенезом и онтогенезом процессы развития человеческого духа во всемирно-историческом масштабе могут быть продуктивно сопоставлены с процессами развития человеческого сознания в индивидуальном масштабе; развитие человечества может продуктивно изучаться на примере развития отдельной человеческой особи.



Системообразующим принципом истории человечества, как и истории любого живого организма, является, согласно Ренану, *стадиальность*: организм проходит в своем развитии несколько основных стадий (ступеней, этапов):

Подобно тому, как познание человеком какого-нибудь сложного объекта состоит из трех актов: 1) общее и неясное видение объекта в его цельности; 2) отчетливое и аналитическое видение отдельных частей объекта; 3) синтетическое восстановление цельности объекта, основанное на знании отдельных его частей, подобно этому и человеческий дух в своем развитии проходит три состояния, которые могут быть названы соответственно синкретизмом, анализом и синтезом и которые соответствуют трем вышеуказанным фазам познания (AS, 329; БН, 3-я паг., 31).

Гегелевские (а в более отдаленной и опосредованной перспективе – неоплатонические) корни этой ренановской триады достаточно очевидны. Впрочем, иногда Ренан сводит свою концепцию стадиального развития человечества не к трем, а к двум главным этапам:

<...> верный взгляд на человечество, который в сущности есть не что иное, как критика, такой взгляд могут дать лишь науки исторические и филологические. Первый шаг наук о человечестве состоит в том, чтобы различать две фазы человеческого мышления: первобытный возраст, возраст спонтанности, когда способности в их творческой производительности, безо всякого самосозерцания, по внутреннему влечению, достигали объекта, не целясь в него предварительно, и возраст рефлексии, когда человек смотрит на себя со стороны и владеет собой; это возраст комбинирования, возраст трудных процедур, возраст познания, основанного на антитезах и спорах. Одна из заслуг Кузена перед философией состоит в том, что он ввел это различие и изложил нам его со свойственной ему ясностью. Но только наука покажет нам его определенно и приложит его к разрешению наиболее пре-

красных проблем. История первобытного периода, эпосы и стихотворения спонтанных веков, религии, языки – все это откроет нам свой смысл лишь тогда, когда указанное выше великое различие станет само собой разумеющимся для всех (AS, 293–294; БН, 3-я паг., 10).

Готовность Ренана ограничиться двоичным противопоставлением стадий вместо противопоставления троичного объясняется тем, что по-настоящему его интересует лишь один концепт, общий для этой диады и для этой триады. Это первый член обоих противопоставлений – стадия первобытности, «l'âge primitif». Одна из важнейших целей, которые Ренан ставит перед собой в «Будущем науки», состоит в том, чтобы буквально вбить в голову читателя понятие о *первобытном мышлении* как о самостоятельном типе мышления, подчиняющемся своим особым законам:

Теория первобытного состояния человеческого духа, столь необходимая для познания человеческого духа как такового, является нашим [= нашей эпохи] великим открытием; она внесла в философскую науку совершенно новые данные (AS, 297; БН, 3-я паг., 13).

Изучение первобытного мышления Ренан именуется «эмбриологией человеческого духа» («embryogénie de l'esprit humain») (AS, 213; БН, 1-я паг., 109). Именно с изучением первобытного мышления связаны отдельные исследовательские задачи, которые Ренан ставит перед «науками о человечестве».

I. К числу *наиболее* общих задач такого рода Ренан относит:

1) разработку «подлинно исторической психологии» (AS, 227; БН, 1-я паг., 119) и прежде всего таких ее частей, как

– «психология *первобытного состояния*» («psychologie primitive», AS, 216; БН, 1-я паг., 111). Это должен быть совершенно новый раздел в психологической науке. Основ-

ными объектами изучения для этого раздела психологии должны стать: 1) мышление ребенка; 2) мышление дикаря; 3) структура архаических языков; 4) литературные памятники древности (AS, 214–216, 229–230; БН, 1-я паг., 110–111, 121);

– историческая психология иррациональных феноменов:

«Сон, сумасшествие, бред, сомнамбулизм, галлюцинации представляют для индивидуальной психологии гораздо более богатое поле наблюдений, чем нормальное состояние <...> Точно так же и психология человечества должна будет основываться на изучении помешательств человечества, его грез, его галлюцинаций и всех тех интересных нелепостей, которые встречаются на каждой странице истории человеческого духа» (AS, 230–231; БН, 1-я паг., 122);

2) дальнейшую разработку «философской и сравнительной теории языков» (AS, 301; БН, 3-я паг., 14), т. е. сравнительно-исторического и сравнительно-типологического языкознания. Согласно Ренану, важность этой дисциплины невозможно переоценить. «Мы не устанем повторять, что через изучение языков мы непосредственно прикасаемся к первобытному» (AS, 302; БН, 3-я паг., 15). Ренан, в частности, подчеркивает важность таких аспектов сравнительной лингвистики, как а) генеалогическая классификация языков – ее данные важны для этнографии и для изучения происхождения человечества; б) изучение общих закономерностей глоттогенеза – оно важно для понимания общих принципов первобытного мышления; 3) контрастная грамматика – т. е., по формулировке Ренана, «сравнительное изучение приемов, посредством которых различные расы выражали различные сплетения мыслей» (AS, 301; БН, 3-я паг., 15);

3) создание *сравнительного религиоведения*. «Сравнительное изучение религий, когда оно будет окончательно установлено на прочных основаниях критики, составит

самую прекрасную главу истории человеческого духа, стоящую между историей мифологий и историей философий. <...> Итак, истинной историей философии является история религий. Самым неотложным трудом для прогресса человеческих знаний была бы философская теория религий» (AS, 304, 309; БН, 3-я паг., 17, 20). Первым шагом сравнительного религиоведения, согласно Ренану, должно стать разбиение всех религий на два класса: «Религии организованные, обладающие священными книгами и ясно определенными догмами, и религии неорганизованные, не имеющие ни священных книг, ни догм, являющиеся всего лишь более или менее чистой формой культа природы и никоим образом не выставляющие себя в качестве откровений». Еще один критерий, дополняющий это основное разбиение, – нетерпимость или терпимость религий к другим верованиям (AS, 313–314; БН, 3-я паг., 21). Сравнительное изучение религий дает материал как для психологии первобытного состояния, так и для сравнительной характеристики различных рас (AS, 315–318; БН, 3-я паг., 22–24).

II. В числе наиболее важных частных задач, стоящих перед гуманитарными науками, Ренан называет:

– составление критического каталога рукописей, хранящихся в различных библиотеках (самая неотложная задача, по мнению Ренана) (AS, 258; БН, 1-я паг., 141);

– создание специальных монографий по всем частным научным вопросам (AS, 271–273; БН, 1-я паг., 150–152);

– издание документов гностической секты мандаитов (христиан Иоанна Крестителя): они важны для построения психологии иррациональных феноменов (AS, 230; БН, 1-я паг., 122);

– создание «Критической истории происхождения христианства» (AS, 231, 310; БН, 1-я паг., 123; 3-я паг., 20–21).

Мы не будем сейчас рассматривать вопрос о воздействии программы Ренана на развитие французских гуманитарных наук, хотя, если взглянуть на дело в долгосрочной перспективе, невольно поражаешься тому, сколь многие важнейшие направления развития французской науки

XX в. были предсказаны в манифесте Ренана. Но мы задимся другим вопросом: каковы, собственно говоря, были те предметные сферы, к которым понятие филологии у Ренана отсылало в первую очередь?

Ренан был как нельзя более далек от всякого узкого догматизма; он всегда мыслил широко, гибко и многомерно. Поэтому и экстенционал понятия «филология» берется им предельно широко: «Грамматик, лингвист, лексикограф, критик, *литератор* в специальном смысле этого слова – все они имеют право на звание филолога» (AS, 182; БН, 1-я паг., 88). «Историки, критики, полиграфы, историки литературы – все найдут там свое место» (AS, 184, БН, 1-я паг., 89). Иными словами: «*Все, служащее для восстановления или выяснения прошедшего, имеет право на место в ней [филологии]*» (Там же; выделено нами. – С. К.). Далее по ходу своих рассуждений о филологии Ренан ссылается в разных местах «Будущего науки» на Гейне, Вольфа, Нибура, В. Гумбольдта, Ф. Шлегеля, Лассена, Боппа, О. Мюллера, Штрауса и Бауэра – список достаточно разнообразный. Таким образом, на эксплицитном уровне Ренан определяет филологию максимально всеохватно. Но можно ли сказать, что перед нами «филология без берегов»? Или у ренановского понимания филологии есть какая-то неявная специфика? Имеются ли какие-то трактовки понятия «филология», с которыми Ренан был бы все же в принципе не согласен?

Разумеется, главный вопрос, на который нужно ответить, это вопрос о соотношении ренановского взгляда на филологию со взглядами немецких филологов конца XVIII – первой половины XIX в. Если исходить из буквы их воззрений, оказывается не так легко понять, в чем заключалось принципиальное различие между немцами и Ренаном по вопросу о сущности филологии. И Ренан, и немцы говорят о познании «продуктов человеческого духа». И Вольф, и Бек придают понятию филологии максимально широкий объем – в точности как и Ренан. Правда, Ренан, в отличие и от Вольфа, и от Германа, и от Бека, отказывается ограничить сферу приложения филологии классической антич-

ностью – в этом отношении он, впрочем, мало отличается, например, от учеников Бека, которые начиная с 1840-х гг. стали переносить методологию Бека на изучение иных культурных миров, нежели греко-римский<sup>12</sup>. Но тем не менее этот момент существен, и чуть позже мы к нему вернемся.

Пока что попытаемся подойти к вопросу с другой стороны. Вспомним цитату из Г.О. Винокура, приведенную в начале нашей статьи. К какому из трех подходов, выделенных Винокуром, скорее тяготеет ренановское представление о филологии?

О некоторых важных особенностях ренановской позиции можно судить по заявлениям, содержащимся в самом тексте «Будущего науки». Ренан полемизирует с воззрением на филологию как на *энциклопедию*. «Те, кто, как Гейне и Вольф, ограничили роль филолога задачей воспроизвести в своей науке, как в живой библиотеке, все черты древнего мира, не поняли, как мне кажется, до конца все значение этой роли» (AS, 184–185; БН, 1-я паг., 90). При этом в примечаниях 55–56 к «Будущему науки» Ренан подчеркивает, что в случае школы Гейне–Вольфа, как и в случае античных филологов, речь идет о подходе к филологии (грамматике) как к *энциклопедии, призванной служить идеальному пониманию древних авторов*. От себя добавим, что подобную по своему существу концепцию филологии как энциклопедии, служащей для понимания, развивал (только в расширенном, более отрефлексированном и рафинированном виде) и Август Бек. Вот эта задача *понимания*, которую, имплицитно или эксплицитно, клали в основу определения филологии и Гейне, и Вольф, и Шлейермахер, и Бек, совершенно не вдохновляет Ренана. Не то чтобы Ренан хоть сколько-нибудь отрицал необходимость идеального понимания текста и необходимость всевозможных специальных усилий, направленных на такое понимание,

<sup>12</sup> См.: Тротман-Валлер С. Филология вещей или филология слов? История одного спора и его сегодняшние продолжения // ИЛЮ. № 96. С. 34.

отнодь нет. Но работа по пониманию текста, будучи для Ренана важной и неотъемлемой частью филологии, не является в его глазах целевой причиной всей филологической деятельности. К пониманию как таковому Ренан относится без пафоса, свойственного немецким филологам; оно не выступает в его глазах сверхзадачей, достаточной для оправдания филологии в целом. Ренановская концепция филологии лишена герменевтической доминанты.

Вполне естественно, что, не будучи всецело захвачен задачей понимания, Ренан не может абсолютизировать и задачу *установления текста*. Опять же: не то чтобы эта задача была в его глазах малосущественной; наоборот, она очень важна, а применительно к некоторым текстам, и прежде всего к тексту Библии, эта задача является для Ренана перво-степенно важной. Но она недостаточна для оправдания филологии в целом.

Таким образом, концепция филологии у Ренана не является *текстоцентричной*. В этом плане Ренан расходится и с античными филологами, и с XX столетием, которое будет понимать филологию по большей части в античном духе.

Но если не к пониманию текстов, тогда к чему направлена вся филологическая деятельность, согласно Ренану? Ренан дал вполне внятный ответ на этот вопрос: *к построению истории человеческого духа*. Тогда чем отличается история человеческого духа по Ренану от познания продуктов человеческого духа, проповедуемого немецкими филологами?

Как нам кажется, наиболее ясно ответить на этот вопрос можно будет, если совершенно анахронически и вопреки предмету перенести на соотношение между Ренаном и немецкими филологами дихотомию «познание общего – познание индивидуального», разработанную в конце XIX в. Дильтеем и его последователями для осмысления противоположности между науками о природе и науками о духе. И Ренан, и немецкие филологи говорят об изучении и восстановлении прошлого, о познании продуктов человеческого духа. Но похоже, что в сравнении с Ренаном немецкие филологи видят в продуктах человеческого духа более

индивидуальную и более автономную ценность, тогда как для Ренана все эти продукты – от самых великих до самых ничтожных – ценны постольку, поскольку они документируют единую и всеобщую историю человеческого духа. Именно познание общих закономерностей этой истории и является абсолютной ценностью для Ренана; индивидуальные же продукты человеческого духа представляют ценность лишь своей причастностью к этой надличной истории. Вот почему все анонимное в истории духа Ренан ставит выше всего персонифицированного:

Наука, искусство, философия не имеют никакого смысла, если не встать на точку зрения человеческого рода. <...> Самые возвышенные произведения – это те, которые человечество создало коллективно, те, с которыми нельзя связать ни одного собственного имени. Самые прекрасные вещи анонимны. Критики, являющиеся только эрудитами, оплакивают это и употребляют все свое искусство, чтобы проникнуть в эту тайну. Какая глупость! Думаете ли вы, что вы возвысите национальную эпопею, если откроете имя жалкого индивидуума, который ее сочинил! Что мне за дело до этого человека, который становится между человечеством и мною? Что значат для меня незначительные слогги его имени? Это имя ложно; истинный автор не он, а нация, человечество, работавшее в определенное время и в определенном месте <...> Восхищения заслуживает только человечество (AS, 239–240; БН, 1-я паг., 128).

И поэтому же Ренан настойчиво выступает против внесения ценностных суждений в филологию, столь характерного для немецких филологов, придававших абсолютную ценность античному миру (и, соответственно, познанию античного мира). Поскольку сверхзадачей филологии является познание человечества как такового, постольку для филологии ценны любые документы и любые культурные ареалы:

...таким образом, с этой широкой точки зрения на науку о человеческом духе, самыми важными произведениями

могут оказаться те, которые с первого взгляда казались самыми незначительными. Какая-нибудь азиатская литература, не имеющая решительно никакой внутренней ценности, может дать для истории человеческого духа более интересные результаты, чем всякая новая литература (AS, 232; БН, 1-я паг., 123).

Что же будет в истории человеческого духа самым анонимным и самым всеобщим? Миф – и Ренан призывает к изучению истории верований. Фольклор – и Ренан призывает к изучению народных традиций. Но есть вещь, еще более первичная в своей анонимности и всеобщности – язык.

Но есть один памятник, на котором записаны все различные фазисы этого чудесного развития [=филогенеза человечества], который тысячью своих сторон представляет нам каждое состояние, пережитое человечеством; этот памятник не относится к какому-то одному времени, но каждая часть его, даже в том случае, когда можно определить время ее возникновения, заключает в себе материалы всех предшествующих веков и делает их доступными для анализа; это удивительная поэма, которая родилась и развилась вместе с человеком, которая сопровождала каждый его шаг и на которой отпечатлелись все оттенки его мыслей и чувств. *Этот памятник, эта поэма есть язык* (AS, 215; БН, 1-я паг., 110–111; выделено нами. – С. К.).

Как видим, Ренан относится к языку как к тексту. Для человека XIX в. было привычно воспринимать текст в первую очередь как свидетельство о душевной жизни автора и / или об исторической эпохе, которую текст отражает. Аналогично этому Ренан призывает восходить от особенностей языка к коллективной психологии его носителей и к стадии исторического развития человечества, которую язык отражает:

Глубокое изучение его [языка] механизмов и его истории будет всегда самым действительным средством для понима-

ния первобытной психологии. <...> благодаря ему [языку] мы так же можем восстановить первобытные времена, как художник может восстановить древнюю статую по оттиску, на котором запечатлелись ее формы (AS, 215; БН, 1-я паг., 111).

Именно язык находился в центре внимания самого Ренана как филолога-практика. Еще раз приведем его слова: «Все, что я <...> сделал в филологии, вышло из этого скромного учебного семинара, который был мне доверен моими снисходительными учителями». Это был, напомним, семинар по древнееврейской грамматике. Труд Ренана о семитских языках был, по словам самого Ренана, задуман в подражание «Сравнительной грамматике» Франца Боппа. Непосредственными же образцами, навсегда определившими представление Ренана об идеальном филологе, были Артур-Мари Легир и Эжен Бюрнуф. У Легира в семинарии Сен-Сюльпис Ренан изучал семитские языки. У Бюрнуфа в Коллеж де Франс Ренан изучал санскрит. Как показал Франсуа Лапланш<sup>13</sup>, методологические принципы Бюрнуфа оказали сильнейшее влияние на все представления Ренана о филологии. Сама констелляция профессиональных интересов Бюрнуфа (древние языки – древняя мифология – древняя религия) существенно предвосхитила структуру профессиональных интересов Ренана. Впрочем, и сам Ренан не скрывал своей глубочайшей зависимости от Бюрнуфа. Книгу «Будущее науки» он посвятил «господину Эжену Бюрнуфу» и в посвящении писал:

Я обдумывал эту книгу, сидя перед Вами. Всякий раз, когда я испытывал духовную слабость, когда я чувствовал, что мой научный идеал начинает омрачаться, я думал о Вас, и туман исчезал: Вы были воплощенным ответом на все мои

<sup>13</sup> Laplanche F. Y a-t-il une science des textes sacrés? Renan entre Le Hir et Burnouf // *Mémorial Ernest Renan: Actes des colloques de Tréguier, Lannion, Perros-Guirec, Brest et Rennes*. P., 1993. P. 293–308.

сомнения. <...> Слушая Ваши лекции о самом прекрасном из первобытных языков и самой прекрасной из первобытных литератур, я встретился с осуществлением того, о чем я смел лишь мечтать. Я видел, как наука стала философией и как самые возвышенные результаты возникли из самого тщательного анализа мелких подробностей (AS, 79; БН, 1-я паг., 16).

Как подчеркивал впоследствии Ренан в своем некрологе Бюрнуфу, «...верховой целью, которую он [Бюрнуф] ставил перед наукой, было построение истории человеческого духа – истории <...> основанной на самом терпеливом и самом внимательном изучении мелких подробностей» (выделено нами. – С. К.)<sup>14</sup>.

Ренановские представления о филологии воспроизводят в главных чертах то понимание филологии, которое Ренан усвоил из лекций Бюрнуфа, посвященных санскриту и литературе на санскрите. В инаугурационной лекции в Коллеж де Франс Бюрнуф сформулировал установки своего преподавания следующим образом:

Итак, мы *посвятим наши совместные усилия изучению санскритского языка*. Мы не будем амбициозно пытаться воссоздать широкую картину развития истории и литературы индийцев; подобные картины долго еще будут обречены оставаться в состоянии набросков. Вместо этого мы будем анализировать ученое наречие, на котором выражался этот самобытный народ. Мы будем читать бессмертные памятники, запечатлевшие в себе гений этого народа; и поэтому мы и отказываемся от попыток представить вам панораму всех чудесных творений этого народа, нас утешит уверенность в том, что мы даем вам способность самим начертать некоторые фрагменты такой панорамы. Решаемся, однако же, заявить следующее: если этот курс и должен быть *посвящен*

<sup>14</sup> Renan E. Questions contemporaines. P., 1868. P. 157.

*филологии*, это еще не значит, что в нем не найдется места изучению фактов и идей. Мы не станем закрывать глаза на самый яркий поток света, когда-либо пришедший к нам с Востока, и мы постараемся понять великое зрелище, которое открывается нашему взору. *В языке индийцев мы будем изучать Индию, с ее философией и ее мифами, ее литературой и ее законами*. И даже более чем Индию, господа: мы попытаемся вместе дешифровать одну из страниц первоначального развития нашего мира, *одну из страниц первоначальной истории человеческого духа*. Не подумайте, что мы решили посулить вашим усилиям подобный результат из суетного желания придать нашим работам некую популярность, которой они иметь не могут. Нет, дело в нашем глубоком убеждении. Оно состоит в том, что, если слова и можно изучать без изучения идей, то такое изучение слов является пустым и бесполезным, и только лишь изучение слов в качестве *видимых знаков мысли* является основательным и плодотворным. Не бывает настоящей филологии без философии и без истории. Анализ языковых процедур тоже входит в число наук, построенных на наблюдениях; и, даже если такой анализ и не есть сама *наука о человеческом духе*, то, во всяком случае, он являет собой науку о самой удивительной способности, с помощью которой человеческому духу дано было выражать себя» (выделено нами. – С. К.)<sup>15</sup>.

Филология здесь предстает как изучение языка, но сквозь язык мы восходим к культуре, его породившей (и им порожденной), а сквозь эту культуру – к закономерностям интеллектуального развития человечества. Именно такую траекторию анализа – применительно не только к языку, но к самому разному материалу – постоянно и настойчиво предлагает Ренан на страницах «Будущего науки».

<sup>15</sup> Burnouf E. De la langue et de la littérature sanscrite: Discours d'ouverture prononcé au Collège de France / Extrait de la Revue des deux mondes, livraison du 1<sup>er</sup> février 1833. P. 14–15.

Но такое понимание филологии и такая траектория анализа вовсе не были личным достоянием Бюрнуфа. Такое понимание филологии естественным образом выросло из практики преподавания мертвых, в первую очередь восточных, языков в Коллеж де Франс. Наряду с этой практикой во Франции в первой половине XIX в. существовали и другие филологические практики (мы, разумеется, не берем здесь в расчет риторически ориентированное изучение изящной словесности, культивировавшееся на всех факультетах словесности). Имелась практика Академии надписей и изящной словесности, продолжавшая европейскую традицию антикварных разысканий<sup>16</sup>. Имелась практика основанной в 1821 г. Школы хартий, опиравшаяся на богатейшую французскую традицию бенедиктинской учености<sup>17</sup> и состоявшая в чтении и издании средневековых рукописей. Эта практика давала потенциальную почву для текстоцентричного понимания филологии «в немецком духе», но вплоть до 1860-х гг. деятельность Школы хартий оставалась изолированным явлением, лишенным сколько-нибудь заметного методологического пафоса (в отличие от пафоса «хранителей наследия», коим преподаватели и студенты Школы были вполне наделены). Имелась, наконец, практика изучения средневековой французской и иностранной литературы, представленная трудами таких ученых, как Клод Форбель, Жан-Жак Ампер и Франциск Мишель; институциональными нишами для этой практики служили кафедры истории иностранных литератур (эти кафедры в 1830-х гг. стали учреждаться в составе факультетов словесности; первая такая кафедра была учреждена в 1830 г. по настоянию Гизо как раз для Форбеля<sup>18</sup>). И Форбель, и Ампер были зна-

<sup>16</sup> О последней см.: *Momigliano A. Ancient History, and the Antiquarian; Idem. The Classical Foundations...*

<sup>17</sup> См.: *Barret-Kriegel B. Les historiens et la monarchie. T. I–IV. P., 1988.*

<sup>18</sup> Подробнее см.: *Espagne M. Le paradigme de l'étranger: Les chaires de littérature étrangère au XIX siècle. P., 1993.*

комы с немецкой наукой, а Ф. Мишель был наполовину немцем; для всех троих был характерен интерес к лингвистическим вопросам; все трое в своих исследованиях восходили от средневековой литературы к средневековой истории. Эта практика изучения средневековых литератур, предполагавшая, по формулировке М. Эспана, «сопряжение лингвистики с историей»<sup>19</sup>, имела в своей основе подход к материалу, отчасти аналогичный подходу Ренана и Бюрнуфа; правда, материал этот был более ограниченным в историко-культурном отношении, а рабочие принципы вышеупомянутых медиэвистов так и не были сформулированы в виде обобщенной и общезначимой исследовательской программы. Тем не менее все вышеперечисленные практики вошли в состав французских филологических традиций<sup>20</sup>. Но наибольшее влияние на развитие гуманитарных наук во Франции оказала, как нам представляется, концепция филологии, опиравшаяся на практику преподавания мертвых языков в Коллеж де Франс<sup>21</sup>. Изучение древних восточных языков (Сильвестр де Саси, де Шези, Абель-Ремюза, Шампольон и, разумеется, Бюрнуф) было единственной сферой, приносившей международную славу французской учености в первой половине XIX в. И именно постижение древних языков легло в основу того понимания филологии, которое проповедует Ренан. Сравним с концепцией Ренана и с инаугурационной лекцией Бюрнуфа инаугурационную лекцию Шампольона в Коллеж де Франс:

История <...> по необходимости опирается на помощь самых разнообразных изысканий, даже и тех, которые состав-

<sup>19</sup> *Espagne M. L'invention de la philologie: les échos français d'un modèle allemand // Histoire Epistémologie Langage. Vol. 19 (1997). Fasc. 1. P. 125.*

<sup>20</sup> *Ibid. P. 121–134.*

<sup>21</sup> О французской ориенталистике см.: *Schwab R. La renaissance orientale / Préf. de L. Renou. P., 1950; Bergounioux G. L'orientalisme et la linguistique: entre géographie, littérature et histoire // HEL. Vol. 23 (2001). Fasc. 2. P. 39–57.*

ляют в своей совокупности – по крайней мере, на первый взгляд – совершенно отдельную науку.

Во главе этих наук стоит *филология* в широком смысле слова. Филология всегда идет от материи [к духу]. Поэтому сначала филология определяет значение слов и письмен, изображающих эти слова, а также исследует механизм древних языков.

Затем, продвигаясь все выше и выше, эта наука устанавливает связи или различия между языком изучаемого народа и языками его соседей; она сравнивает слова, распознает принципы, управляющие сочетанием слов в каждой семье языков или в каждом отдельном языке, и таким образом подводит нас к полному пониманию *памятников письменности* древних народов, посвящает нас в тайну свойственных этим народам понятий об обществе, их религиозных или философских воззрений; устанавливает и перечисляет события, случившиеся на протяжении политического существования этих народов; филология, так сказать, возвращает нам живой облик этих народов, во всем богатстве красок и оттенков места и времени, поскольку теперь с нами говорят сами люди древних эпох, говорят прямо и без посредников – говорят при помощи знаков, начертанных некогда ими собственноручно (курсив автора)<sup>22</sup>.

О том, насколько влиятельным стало именно такое понимание филологии к последней трети XIX в. во Франции, ярко свидетельствует «Большой всеобщий словарь XIX века» Пьера Ларусса. В его 12-м томе мы читаем следующее определение филологии: «Наука о языках или об одном отдельном языке, взятых или взятом с точки зрения литературной истории и исторической грамматики: Сравнительная филология. Латинская филология»<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Champollion J.-F. Discours d'ouverture du cours d'archéologie au Collège Royal de France // Champollion le Jeune. Grammaire Égyptienne. P., 1836. P. iij–iv.

<sup>23</sup> Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. T. 12. P., 1874.

Это – не одно из возможных значений слова *philologie*; это – единственное его современное французское значение, указываемое Ларуссом. Именно с этим привычным для Франции в XIX в. пониманием филологии полемизировал в начале XX в. Соссюр, когда говорил своим слушателям: «Язык не является единственным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты»<sup>24</sup>.

Именно подход к филологии как к изучению языка составляет, как нам представляется, неясную основу всего понимания филологии у Ренана. Подобная траектория анализа – от языковых данных к истории человечества – будет и в дальнейшем весьма характерна для французской традиции гуманитарных исследований. Свое наивысшее выражение подобный подход найдет в работах крупнейших представителей «парижской лингвистической школы»<sup>25</sup>, таких как Антуан Мейе, Эмиль Бенвенист и Жорж Дюмезиль.

#### А.Д. Шмелев

Русское восприятие западных концептов: пути адаптации

Вступительные замечания

Я начну с того, что поясню некоторые выражения, смысл которых распатан небрежным словоупотреблением. Я буду исходить из представления, что каждый язык тем или иным образом концептуализирует внеязыковую действительность, подсказывает всем носителям особенности этой

<sup>24</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 39.

<sup>25</sup> Подробнее о «парижской лингвистической школе» см.: Milner J.-C. Le périple structural: Figures et paradigme / Nouv. éd. revue et augmentée. P., 2008. P. 61–80.